

СОДЕРЖИТ

НЕЦЕНЗУРНУЮ

БРАНЬ

18+

ПРЕДНАМЕРЕННАЯ

ЕФИМ МЫГИН

“Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ЭТОГО НИКОГДА НЕ СЛУЧАЛОСЬ.”

Ефим МЫГИН

Преднамеренная

«ЛитРес: Самиздат»

2020

Мыгин Е.

Преднамеренная / Е. Мыгин — «ЛитРес: Самиздат», 2020

Вы когда-нибудь задумывались, каково это – попасть в ад? Представляется что-то вроде языков пламени, демонов, сдирающих кожу с грешников живьём, рек крови...подумайте ещё. И кстати, причем тут трамвайные пути?Содержит нецензурную брань.

Содержание

1.	5
2.	7
3.	8
4.	10
5.	12
6.	14
7.	16
8.	18
9.	21
10.	22
11.	25
Конец ознакомительного фрагмента.	27

1.

Мне бы раньше догадаться, что всё в моей жизни неправильно, не так.

Было жарко: так жарко, как бывает три дня в августе, когда плавится асфальт, и люди тоже плавятся. Из-за невероятной жары – и из-за неё тоже – я не спустилась в метро, а поехала через край света.

Это у меня такая шутка была – про край света. Из офиса нашего можно было ехать домой или через метро – быстро, но душно, страшно, и разводы эти на стенах, похожие на кровь – или, если исхитриться и завернуть за девятиэтажкой, похожей на боевого робота, то выскочить на трамвайную остановку. Этот – тайный – путь я нашла не сразу, даже удивительно, насколько нужно быть внимательной. Свернуть, куда надо, у меня начало получаться не сразу, пришлось приноровиться – но потом!

Ехал трамвай дольше, но зато садиться можно было на любой – довозило ровно куда нужно. Остановок было несколько. Разные трамваи привозили меня на разные конечные, но идти каждый раз оказывалось всего ничего. Удивительно, я ведь раньше и путей не замечала. Я спросила у него как-то, мол, а ты знал, что у нас ходят трамваи, но он не ответил – отношения наши тогда совсем обострились, он снова начал притворяться, что не слышит меня; всё закончилось скандалом.

Вот ещё, почему я добиралась на трамваях – так было, как я и говорила, дольше.

Да, про край света.

Остановка, которая возле офиса – она была на самой границе района. То есть, вот за спиной остаются панельки – те самые, похожие на роботов – потом дорога, потом пустырь, заляпанный глиной – вечно там что-то раскапывали – потом остановка, рельсы, а потом ничего. То есть, не совсем ничего, луг, кусты, столбы с фонарями, но ни зданий, ни людей, никого. Даже собачники там не ходили.

Если подумать, мне стоило бы, наверное, бояться. Край спального района, самое место для маньяков – но так мне было худо, что не до маньяков: хоть я и не замечала ничего неправильного в своей жизни, но она мне совсем не нравилась.

Ругаться мы начали не сразу – сначала съехались. Наверное, у многих так. И год, что-то около, всё у нас было хорошо – тоже, наверное, у всех так. Я не скажу, что вот в одночасье всё рухнуло, нет, конечно, были звоночки, и конечно, надо было мне отреагировать: а как? Квартира, конечно, его – но ремонт-то мы на мои делали. Ремонт на мои, и людей тоже я искала, потому что у него нет времени, а друзья его, на друзей время есть, и мама его, и занавески эти мерзкие. Конечно, раз я ремонт делаю, значит, делаю, как мне нравится, почему я должна на чьих-то мам озираться? На, говорит, Светочка, я принесла, чтобы уютнее. Мы ведь вместе сразу посмеялись над этими занавесками. Потом, конечно, поругались, потом я, помню, полезла их вешать, кричала на него, и он кричал, а потом всё совсем разладилось.

Короче, не торопилась я домой.

Так про жару – когда я поняла, что всё не так.

Жарко было весь день, я вымокла от пота. Пот тёк у меня по лицу, пот тёк у меня по ногам под юбкой, и из-за этого я не садилась – боялась, что оставлю мокрые пятна на лавке, и кто-то увидит. Обычно на краю света было пустынно, но в этот раз на лавочке под козырьком сидели двое. С каждой секундой я ненавидела их всё больше. Наверное, они что-то поняли, потому что я чувствовала исходящее от них любопытство; но стоило мне на них обернуться, как оказывалось, что они вовсе не смотрят в мою сторону, а обсуждают своё.

Трамвай никак не шёл, блузка липла к спине. Мне очень хотелось сесть на лавку и хотя бы снять колготки – но сделать этого при людях было нельзя. Моя ненависть стала непереносимой,

и чтобы её проявить, я стала смотреть на этих двоих в упор. Стоило мне это сделать, как злость разбавило недоумением: понимаете, один из них был в шинели.

Мелкое его и жирное тело было упаковано в самую настоящую серую шинель, застёгнутую на все пуговицы, под горлышко. Она даже выглядела тяжёлой, жаркой. Над воротником торчала маленькая, круглая, бритая голова. Сколько я не присматривалась, я не заметила никаких признаков перегревания: ни капель пота, ни красноты; напротив, человечек в шинели был неестественно бледен, словно напудрен, и на бледном этом отталкивающем лице ярко сияли пунцовые, словно отёчные губы. Разговаривая, он отчаянно жестикулировал, но странно, словно стеснялся – упакованные в шинель руки взлетали и тут же опадали.

Собеседник его отвечал односложно, иногда просто кивал. Вот ему, кажется, было так же жарко, как и мне, он растёкся по лавке, вытянув ноги почти до путей. Может по контрасту с карликом в шинели он показался мне невероятно долговязым. Весь он был белёсый, словно припорошённый пылью, только лицо пылало от жары, и вместе они выглядели как жуткая пародия на клоунов Бима и Бома. Я подсознательно ждала, что сейчас они вскочат, начнут показывать номера и раскланиваться из стороны в сторону.

Вскочить они не вскочили, но длинный и блёклый толкнул человечка в шинели локтем в бок и кивнул на меня. Человечек обернулся, взмахнул рукой в воздухе, вытаращил глаза и сказал громко:

– Это ещё что?

Длинный потянул его к себе, взяв за плечо, и сказал неразборчиво. Смотрел он при этом на меня, и что-то в его лице было не так, но я не могла понять, что.

– Это ужасно, – сказал человечек в шинели с чувством.

Я онемела от возмущения, но ответить не смогла: от жары у меня в голове словно застучали молоточки, ноги подкосились, мне пришлось схватиться за опору остановки. Длинный, словно ждал этого, поднялся на ноги, и я поняла, что мне не показалось, что он действительно огромен, как ископаемое чудовище. Тень его легла на меня, и жару сменил ужасный мертвящий холод. Он шагнул ко мне, и я подумала, что правильно стоит бояться тихих трамвайных остановок на краю света, и что никто меня не найдёт. Лицо его было безразличным, блёклые глаза смотрели устало, словно и не очень хотелось, но вот, так получилось. Нос его, помню, привлек моё внимание: нос у него был совершенно бесформенный, я потом поняла, что такое бывает, если нос сломать несколько раз – и чудовищное это, нарочитое уродство было красным от солнца и шелушилось. Он протянул ко мне огромную, словно из серого камня вытесанную ладонь, и я вдруг, сама от себя этого не ожидая, ощерила на него зубы, и вроде даже зарычала – мне показалось, что зарычала.

Ничего не произошло, и я поняла, что сижу совершенно одна на трамвайной остановке, и рядом со мной стоит ополовиненная бутылка воды. Рядом с бутылкой на лавке лежали две сигареты с синими фильтрами и оранжевая пластиковая зажигалка.

2.

Когда я добралась до дома, уже стемнело.

Он сидел на кухне со своим новым другом – в последнее время он завёл кучу новых друзей, один страннее другого, и всех норовил обязательно притащить в гости. Однажды – я не вру – он привёл домой настоящего священника, но тот, конечно, пробыл недолго, потому что этого ещё не хватало, и я, конечно, дала это понять.

Я от порога почувствовала запах сигарет. Сколько раз говорила, не прокуривать квартиру... я разозлилась было, но произошедшее на остановке как-то обессилило меня. Ругаться не хотелось.

– Привет, – крикнула я из коридора и заглянула на кухню. Конечно, он снова снял занавески.

Я уже говорила, что проклятые занавески стали последним пёрышком на хрупкой спине наших отношений. После той страшной ссоры мы больше о них не говорили, но у нас началось противостояние: я занавески вешала, он снимал, и так каждый день. В первый раз я повесила их дней через десять после скандала, обида душила меня, и я хотела это показать – на, дорогой, если тебе мамины занавески важнее, чем я, то на, подавись. Он тогда дождался, пока я уйду, и снял их, ни слова не сказав, и это, конечно, раззадорило меня ещё сильнее.

На этот раз он не просто их снял, а запихал в мусорный мешок и выставил в коридор. Я попыталась их вытащить и увидела, что он залил их чем-то и разодрал на полосы.

– Серьёзно? – спросила я, заходя на кухню, и показала ему занавески. – Серьёзно?

– Начинается, – сказал он. Друг его потушил сигарету в блюде и заозирался настороженно, вжимая голову в плечи.

– Что начинается? – спросила я. – Это я начинаю?

– Ну, я пойду, – неловко сказал друг, и, не глядя на меня, выскочил из кухни.

– Очень здорово, – сказала я и кинула испорченные занавески на пол. Я всё ещё чувствовала странное изнеможение, и всё ещё не хотела скандалить, но чувствовала, что ещё немного – и сорвусь. Хлопнула входная дверь – надо думать, друг ушёл. – Я, значит, совсем пустое место, да? Можно со мной даже не здороваться.

Он промолчал. Руки он положил перед собой на стол, и я видела, что пальцы у него дрожат.

– Слушай, – сказала я и села рядом. Мне вдруг стало так жаль его, так захотелось коснуться этих дрожащих пальцев. Он словно почувствовал и убрал руки на колени. – Давай поговорим. Мы мучаем друг друга. Занавески эти дурацкие. Так дальше нельзя.

Он снова не ответил, но лицо его как будто расслабилось.

– Я себе чаю заварю, – сказала я, – и поговорим, ладно? Представляешь, я сегодня, кажется, сознание потеряла. Такая жара...

– Я уезжаю, – сказал он. На меня он не смотрел.

– Куда? – спросила я.

– Я уезжаю отсюда, – сказал он, – потому что дальше так невозможно. Я так не могу. Квартиру я продаю. Я уже нашёл покупателя. Его всё устраивает.

– Прости меня, – сказал он.

И вот тут я, наконец, сорвалась.

3.

Я не помню, что именно я ему говорила. Я, кажется, вообще не говорила – только кричала.

Кажется, я спросила, кого он себе нашёл – я понимала, что это безразлично, нашёл или не нашёл, но не могла не спросить. После всего этого времени, а я ведь замечала, стрижка у него стала другая, выражение лица незнакомое, я ещё думала, дура несчастная, что ему ведь тоже тяжело. До смешного доходило, я его иногда не узнавала, так он изменился, и ведь дура, дура, убеждала себя, врала себе, что ну подумаешь, что ещё можно всё вернуть.

Я не помню, что он ответил.

Кажется, когда крика стало недостаточно, я оборвала занавески во всех комнатах – занавески, вы понимаете. Точно помню, что грохнула об пол его чашку. Ещё точно помню, как пыталась ободрать обои со стен – мною же и поклеенные. Вроде мне даже удалось.

Не помню, кто из нас сорвал раковину на кухне.

Пришла я в себя уже на улице, уже рыдающая, уже когда всё закончилось. Наверное, надо было успокоиться, подождать утра – да хоть вещи собрать – но мне было так худо, такое меня захватило отчаяние. Безобразная сцена, весь этот безобразный день словно разбил скорлупу, за которой я пряталась от мерзости своего существования.

Я не помнила, как одевалась, и туфли напялила нелепые, на плоском ходу, от которых тут же заболели ноги. Отродясь у меня не было таких туфель – заметив их, я почти собралась вернуться, чтобы закончить разговор, но вовремя сообразила, что ни одна молодая женщина такие не наденет. Скорее всего, подумала я, туфли его матери, и та заходила и оставила их, и вот когда заходила – тогда и надоумила, старая ведьма.

В душе моей свинцовым студнем колыхалась обида. Слабость была такая, что пригибало к земле.

Денег у меня тоже не оказалось, поэтому вызвать такси было не на что.

Да и куда ехать? Близких друзей у меня не осталось – как же я до такого довела? Ведь знала всё, ведь заранее знала, но как только мы съехались – на друзей стало не хватать времени, и он тоже не поощрял, мои друзья ему не нравились. А потом ремонт бесконечный, а потом, когда мы поссорились, мне стыдно было признаться, и чем дальше, тем хуже – и вот я там, где я есть. К маме ехать? К моей маме? Ночью, в чужих туфлях, без денег, без вещей? Хорошо, если обойдётся, если она просто скажет мне, что говорила, что предупреждала, а если у неё сердце прихватит? До утра где-то побыть? А где, денег нет... вернуться?

Я остановилась и постаралась успокоиться.

Конечно, надо было возвращаться.

Конечно, это было бы неприятно и унижительно, но оставаться одной, ночью, на улице – просто опасно. И всё равно вещи надо забрать – какая разница, сейчас или потом. Надо было вернуться, извиниться, помочь убрать мусор, поговорить.

Я вспомнила его лицо, когда он сказал, что продаёт квартиру, и меня снова ожгло злостью.

Нет.

Как хочет.

Хочет продаёт, хочет не продаёт – квартира его. Убирать я ничего не буду, и извиняться мне не за что, потому что квартира его, а ремонт – мой, а занавески – его матери, пусть забирает и подавится. Вещи мои сам пусть как хочет, так и передаёт, не мои проблемы. Ночь переживу, сейчас вот на остановку выйду, на остановке и посижу тихонько, сколько той ночи.

В голове у меня прояснилось, казалось, что чем дальше я отхожу от его – уже не нашего – дома, тем чётче становятся мысли. Сложно сказать, было это действительно так, или мне от

эйфории казалось, но и сама эйфория была очень приятна после дней, проведённых в молчаливом отчаянии. Что-то в моей жизни наконец-то менялось, больно и страшно, но наверняка к лучшему, потому что куда уж хуже – так я думала.

Вокруг между тем было по ночному сыро и парно, как бывает после жаркого дня. Нагретые за день дома отдавали тепло, от этого их очертания в фонарном свете казались зыбкими, искажёнными. Проулки уходили в беспросветную тьму дворов, и никого вокруг не было, ни единой души. Как бы я не храбрилась, какой бы подъём не испытывала, а ноги в неудобных плоскоступах уставали всё сильнее, фонари помаргивали всё чаще, а остановкой даже и не пахло. Я некстати вспомнила, что трамвайные пути хитро расположены, и что мне долго не удавалось найти остановку на краю света.

Нервноничая, я сунула руки в карманы пиджака – не то чтобы сунула, так заложила пальцы, насколько это позволяли сделать мелкие декоративные кармашки – и неожиданно нащупала в левом крошащиеся бумажные цилиндры, а в правом – пластик. Я не помнила, что взяла те сигареты с лавочки – и зачем мне это делать? Курила я полгода в старшей школе. Я хотела было выкинуть сигареты, но подумала, что возможно никотин вернёт мне бодрость.

Ничего он мне не вернул – по ощущениям я курила не табак, а солому, дым был настолько едким, что я закашлялась, и глаза заслезились. Я не помнила, чтобы такое случалось со мной в школе. От греха подальше я выкинула и сигареты – зажжённую отшвырнула тут же, и мне было почти не стыдно перед дворником – и зажигалку, запоздало браня себя за глупость. Мало ли что в них было, зачем я вообще потянула эту дрянь в рот.

Всё ещё кашляя, я выбрела, наконец, на остановку. Фонарь над ней горел тускло, и в глазах у меня стояли слёзы, поэтому я никак не могла рассмотреть расписание – с другой стороны, какая мне разница, ночь на дворе, поедет что-то ещё не скоро, а когда поедет – рассветёт достаточно, чтобы я без проблем всё увидела и прочитала.

Я немножко прикорнула на лавочке – долго боролась с собой, но потом плюнула. Становилось всё прохладнее; помню, как порадовалась плотному костюму. По ощущениям приближался рассвет.

Проснувшись я от кашля. Во рту стояла гадкая, гнилостная горечь. Эйфория закончилась, я снова испугалась. Я дрожала, не знаю, от страха или от холода. Чтобы согреться, я встала на ноги и начала ходить вокруг остановки: два круга прошла просто так, потом пробежалась, потом попрыгала на одной ноге. Кашель отпустил, дышать стало легче, и что самой приятное – я увидела свет там, где пути выворачивали из-за дома.

Мне не пришло в голову, что ещё не рассвело, и что слишком рано для регулярных рейсов, и что... да ничего не пришло, я просто слишком обрадовалась.

Когда я подошла к путям, у меня снова начался кашель, ещё хуже, чем раньше, с жуткими свистящими хрипами. Мне показалось, что я умираю. В глазах потемнело, я наклонилась, потому что посчитала, что так мне станет легче, и протянула руку, чтобы удержаться, только вот держаться было не за что. Нелепая плоская подошва чужой туфли попала на что-то скользкое, я закрутилась и замахала руками в воздухе, пытаясь удержать равновесие. Показалось, что у меня получится выпрямиться, но что-то толкнуло меня под колени, и я упала, укладываясь правым виском на плиточный бордюрчик, идущий вдоль рельсов.

4.

Больно не было.

Был неприятный хруст, я подумала – понадеялась – что это разошлась по шву слишком плотная офисная юбка.

Надежды было мало, потому что я не просто не чувствовала боли – я ничего не чувствовала. Лежала, вывернувшись, прижавшись щекой к асфальту, и смотрела в фонари подъезжающему трамваю. Даже моргнуть не могла.

Очень быстро я поняла, что трамвай вовсе не приближается: из-за поворота он вывернул и остался на месте. Наверное, подумала я, кто-то заметил, как я упала. Наверняка уже кто-то вызвал скорую помощь. Осталось немножко подождать.

На нос мне приземлилась снежинка. Я попыталась сфокусировать взгляд, а потом почувствовала запах табачного дыма и поняла, что нет, не снежинка – пепел.

– Отлично, – сказал мрачный девичий голос, – и вот у меня как раз смена кончается, и вот это обязательно было именно сейчас.

Ожидание скорого спасения сменилось растерянностью. То есть, как и все, наверное, я любила поговорить про недобросовестных врачей на скорой, но никогда не думала, что сама с этим столкнусь.

– Блядь, – сказала девушка, и снова стряхнула на меня пепел.

Что вы делаете, хотела сказать я, что происходит. Помогите мне. Прекратите, вы что.

Я по-прежнему не могла пошевелиться. Глаза начинали болеть от света.

– Послушайте, – сказал другой голос, мужской, показавшийся мне знакомым. – Ну, сами всё видите.

– Я-то вижу, – сказала девушка. – Я-то всё вижу.

– Кто же знал, что она вот так вот, – сказал мужчина, и его тут же перебил ещё один голос, тоже мужской, сильно акающий.

– Вот кто её прикурил, – сказал новый голос, – тот и знал. Давайте резче решать, сейчас сношения прилетят. Ну?

– Ну, – сказала девушка уныло. – Ну ну, что.

Я слушала эту чушь заморожено. Мне пришло в голову, что я, возможно, потеряла сознание, и вот это всё мне кажется, потому что безумие происходящего явно выходило за границы врачебной грубости.

– Время, – сказал акающий мужчина. Голос у него был странный, как если бы говорил он сквозь сжатые зубы.

– Отпускай, – сказала девушка, – берём, – и в ту же секунду я почувствовала жжение там, где пепел лёг на мой кончик носа; и тут же я почувствовала боль в виске, и шее, и плече; и тут же я увидела, как из-под щеки моей растекается что-то тёмное, как нефть; присмотреться мне помешали, схватили и сдёрнули в сторону; и тут же мимо прогрохотал, подвывая, трамвай.

– Хорошо, что не остановился, – сказала девушка, державшая меня за плечи, – на следующем поезде или так, ножками?

– Пустите меня немедленно, – сказала я, одновременно пытаюсь оттолкнуть её и утереть щёку.

– Вы, Светочка, не нервничайте, – сказал мужчина, говоривший первым, и я, присмотревшись, узнала округлые его очертания – это был тот самый хмырь с края света, и вот она, поразившая меня шинель.

– Может я её? – спросил акающий, стоял он поодаль, в темноте, и я разглядела только, что он сделал неясный жест рукой.

– Не надо никого, – сказал человек в шинели, – сейчас мы всё проясним. Светочка, вы не нервничайте, вам сейчас не надо нервничать. Вам надо сейчас с нами спокойно поехать, и мы вам всё объясним, – говоря, он словно бы удивлённо взмахивал пухлыми ручками и эдак бочком приближался ко мне.

– Помогите, – сказала я, и сама удивилась, каким жалким был мой голос.

– Поможем, – согласился человек в шинели. – Вы, главное...

Я не стала слушать, оттолкнула девушку и побежала.

5.

Я боялась, что повредила что-то при падении и не смогу нормально бежать; ещё я боялась, что чужие неудобные туфли замедлят меня: все эти опасения сбылись, но я не остановилась.

Из-за тонкой подошвы, каждый шаг отдавался ударом – и удары эти сыпались на мою бедную голову один за другим. Голова болела, меня тошнило. Из-за головокружения мне приходилось то и дело хвататься за стены домов; кажется, я плакала на бегу от страха. Я хотела позвать на помощь, но боялась – а вдруг эти сумасшедшие гонятся за мной, я закричу, и они услышат.

Из-за темноты, из-за боли, я почти ничего не видела, от слёз в глазах плыло, свет от редких фонарей делал только хуже, и я быстро перестала понимать, где я. Надо было найти хоть каких-то людей, но никого вокруг не оказалось: ни подростков, ни полуночникающих парочек, ни пенсионеров с бессонницей. Иногда я замечала светящиеся окна, но во всех подъездах стояли крепкие железные двери, иные с засовами и огромными замками; я никак не могла пробраться в дома.

Я ничего не слышала, кроме шлепанья собственных подошв. Казалось, никто меня не преследовал, и я перешла на крадущийся шаг. Протвиеоеественная тишина пугала.

Мне нельзя было оставаться на улице: даже если эти уроды отстали, оставалась моя разбитая голова.

Крадучись, я выбралась во дворик между старыми приземистыми домами – не выше чем в три этажа. Я и не знала, что поблизости есть настолько старая застройка. Хорошая новость: в таких старых домах редко ставили железные двери – и действительно, в первом же подъезде дверь оказалась самая обычная, деревянная, разохшаяся, даже слегка приоткрытая. Фонарь горел только с улицы, сам дворик оставался тёмным и тихим. Меня затрясло: показалось, что кто-то из сумасшедших поджидает меня в зарослях мальвы и топинамбура; делать, однако, было нечего. Кроме манящей двери в доме было манящее окно на втором этаже – освещённое. Свет пробивался через старушечьи кружевные занавески, и вроде бы я слышала радиопередачу, из тех, которые любят одинокие бабульки.

С улицы зашумело, завыли шины об асфальт, закричали пьяным голосом, эхом задроби-лась скверная, невнятная музыка. Я очнулась, вздрогнула и метнулась к подъезду. Ноги болели, кажется, я их натёрла, но это было ничего по сравнению с болью в виске.

Изнутри подъезд оказался неприятным. Я готова была к кошачьей вони, или, чего уж там, к алкоголику, спящему на лестничной площадке – но ничего из этого не было, а была мерзость запустения. Пахло, как пахнет на заброшенной стройке: отсыревшим бетоном, ржавчиной, застарелой мочой, затопленным подвалом. Ступеньки были раскрошившиеся, древние, и что самое отвратительное, продолжили крошиться у меня под ногами. Насколько же старым был этот дом? Я не знала; я не знала и как его обошла стороной волна капитальных ремонтов. Во всём городе, наверное, не осталось таких запущенных мест.

Поднявшись на второй этаж, я поняла, что не знаю, в какую квартиру звонить. Коридор оказался неожиданно длинным, дверей было слишком много, я не могла понять, как их оказалось так много. Наверное, подумала я, это общежитие. Почему тогда нет коменданта? Мысли путались, я заставила себя вспомнить, что эти вопросы: почему двери, почему длинный этот коридор так меня пугает – всё это неважно, а важно найти телефон и позвонить в скорую. И в милицию.

Я постучала в ближайшую дверь. Номера на ней не было, но над глазком висела приклеенная на прозрачный скотч бумажка с нарисованным синими чернилами знаком: спираль, и

глаз. Наверное, подумала я, в народном докторе снова учат лечить геморрой по заветам предков.

Дверь не открыли, я постучала в следующую. Присмотревшись, нашла кнопку звонка, надавила. Лампочка на весь коридор была одна, тусклая, ватт на сорок, тени от неё были изжелта бурые, от этих теней и общей запущенности меня мучило всё сильнее. Я почти отчаялась и решила идти дальше, вглубь коридора, где волнообразно шевелилась темнота, когда дверь распахнулась, хозяйка квартиры выглянула, взяла по-свойски меня за запястье и ввела внутрь. Внутри было душно и жарко, и неудивительно – я заглянула на кухню, проходя мимо, и увидела, что все четыре конфорки зажжены, и на всех что-то варится, переливаясь серой пеной через края кастрюль. Запах стоял ужасный, но я ничего не сказала, потому что в чужой монастырь со своим уставом не лезь, и, в конце концов, всегда остаётся элементарная вежливость. Отец хозяйки, как и она сама, косой, покрытый неопрятной редкой шерстью, принял меня из её рук в комнате и усадил напротив себя на табурет. Табурет был старенький, сидение оказалось не закреплено и при каждом неловком движении норовило свалиться, так что я решила не двигаться. Отец хозяйки оттопырил губу и посмотрел на меня тревожно и подслеповато. В дрожащих руках он сжимал газету: я рассмотрела кусочек заголовка, что-то про коррупцию. Я понимала, что если сейчас дам слабину – буду втянута в нудный и бессмысленный разговор. Вонь становилась всё сильнее, словно они варили гнилую курятину.

– А можно мне от вас позвонить? – спросила я, и отец хозяйки ещё сильнее оттопырил губу – с губы потекла слюна, закапала ему на впалую грудь, прикрытую нечистой майкой. – Мне ненадолго, – заверила я. Отец хозяйки наклонился и ухнул.

– Я не хотела вас обидеть, – сказала я, поднимая руки, но он ещё больше расстроился, наклонился ко мне ближе, задрожал слюнявыми губами и раздул ноздри, подвывая и урча. Хозяйка, почувствовав беду, примчалась с кухни, мерно бухая кривыми и толстыми ногами, тоже завывала, показывая редкие зубы, каждый – с фалангу указательного пальца. Когти её заскребли по дверце секции, и я поняла, откуда царапины, которые я заметила на стенах, и почему обои в коридоре висят лохмотьями; надо же, а я думала, что у них тоже неладно в семье, хорошо, что не спросила, неловко бы вышло.

Дверь хлопнула, хозяйка обернулась, поскуливая. Я уже поняла, что телефона тут не допросишься, и попыталась встать. Сидение табуретки свалилось мне под ноги.

– Извините, – сказала я. От запаха варёной гнилятины мне было совсем нехорошо.

– Уж они извинят, – сказала девушка с остановки, заглядывая в комнату. – Вот ты где, ну ты, конечно, спринтер. Пошли давай, что стала. Ап, ап! Ножками.

Я заплакала от усталости и страха, но позволила ей взять себя за руку и вывести из квартиры. Хозяйка и её отец наблюдали за нами, молча и синхронно подёргивая верхними губами.

6.

Мы шли молча. Я беззвучно рыдала. Хватка на моём запястье была крепче железа. Дворик с топинамбуром остался далеко за спиной, когда девушка, наконец, остановилась и посмотрела на меня.

– Ну, ты как? – спросила она неожиданно сочувственно.

Мы оказались в каком-то ещё незнакомом дворике, почти под фонарём. Над нашими головами что-то летало в конусе света, сталкивалось с хрустом и сыпалось на землю. Девушка посмотрела наверх, нахмурилась – брови у неё были потрясающей какой-то ширины и густоты – и оттащила меня за руку в сторонку.

– Как ты, спрашиваю, – повторила она. – Отошла немножко? От упырей?

– От каких упырей? – спросила я и не узнала своего голоса, такой он был тихий, такой он был слабый.

– Понятно, – сказала девушка и достала сигареты из внутреннего кармана куртки.

Одета она была странно, я только тогда заметила. Я говорила уже про жару – то есть, конечно, ночью прохладнее, но всё равно жарко. А на ней была и куртка, огромная, дутая, засаленная, и плотные какие-то штаны, похожие на те, в которых ходят рабочие на стройке, и заправлены эти штаны были в сапоги, коричневые, кожаные, остроносые. Молнии на сапогах раздувались от заправленных плотных штанин, по верхнему краю голенищ из сапог торчал клочковатый мех, вроде искусственной овчины.

Мне было больно на это смотреть, и я подняла глаза.

– Сейчас, – сказала девушка и помотала в воздухе сигаретой. – Докурю, ребята подойдут, ты отдохнёшь, и пойдём. Меня, кстати, Ангус зовут, – она протянула мне свободную руку, и я посмотрела на эту руку с недоуменной брезгливостью. Ангус выдохнула дым и руку убрала.

Мне совершенно не хотелось ждать никаких ребят, и совершенно не хотелось никуда с ними идти, так что я напружинилась, готовая снова сорваться с места.

– Куда? – спросили меня из темноты. – Ты не гони, на ноги её глянь, – говоривший акал, и я поняла, что с побегом опоздала.

– Ну-ка, – сказала бровастая Ангус, и, зажав сигарету в зубах, схватила меня за плечи, толкая к лавке. – Да сядь ты. Ебать, и правда. Что делать-то будем?

Акающий мужик выплыл из темноты и посмотрел на нас сверху вниз. Теперь я узнала и его – это был длинный клоун с конца света: ну конечно, стоило догадаться. Когда я видела его в первый раз, одет он был обычно для жаркого дня: какие-то шорты, какая-то майка – но сейчас, как и двое других, выглядел нелепо утеплённым. Белёдые волосы и кожа казались неестественно светлыми из-за тёмной куртки, и да, тогда на остановке мне не почудилось, был он действительно отвратительно огромен, чудовищного какого-то роста, и чудовищно же уродлив.

– Дай гляну, – сказал он, и присел рядом со мной на корточки. Я инстинктивно отдернула ноги. – Сиди, – сказал он, поймал меня за лодыжку и заставил поднять ногу.

Я, в общем-то, понимала, о чём он: подошвы не моих туфель были сделаны словно из картона, и пробежек не выдержали. Я понимала, что, если переживу эту ночь, ноги лечить придётся так же долго, как и голову. По ощущениям, асфальтом я содрала кожу на пятках до мяса.

– Пизда, – сказала Ангус с чувством. – И это она же везде наследила.

– Ага, – сказал мужик. – Ну, кто разуваться будет?

– Да я буду, – сказала Ангус и махнула рукой, – мой участок, мой косяк. Твои тем более нельзя, сильно приметно будет, в твои она вся целиком влезет. А Вольдемар где?

– Ждёт, – сказал мужик, с хрустом разогнулся и выпрямился, нависая надо мной. Я подняла взгляд и тут же снова уставилась в землю. Не хотелось мне на него смотреть. Глаза у него тоже оказались светлые – неприятно, как будто глаз не было вовсе. Ангус уселась рядом со мной на лавку, подмигнула, и вдруг сделала вот что: окурочек, который так и зажимала в руке, запахнула в рот, прищурилась и дернула горлом, сглатывая.

– Ой, – тихонько сказала я, и больше ничего не говорила. Почему-то этот трюк стал последней каплей.

Я молча позволила себя разуть – мужик забрал мои туфли и умёлся с ними – потом разулась Ангус и заставила меня влезть в свои сапоги, и мне не показалось, они действительно были с мехом. Потом она схватила меня за руку и потащила за собой. Я смотрела под ноги и не смотрела по сторонам. Мы снова вышли на трамвайную остановку. И пухлый Вольдемар, и длинный его и жуткий друг уже были там, и от жуткого друга валило холодом, как из открытой морозилки. С рукавов и спины его куртки стайвала наледь, но мне было так плохо, так чересчур оказалось всего, что я безмолвно отметила этот факт, даже не потрудившись удивиться.

– На, – сказал он и сунул мне свёрток. – Переобувайся.

– Ты мой герой, – сказала Ангус. – Я бы за тебя вышла замуж, но, увы, мы несвободны.

Но это решаемо.

Мужик закатил глаза.

– Давайте, Светочка, переобуйтесь, и куртку накиньте, – сказал пухлый Вольдемар, вглядываясь в пути, – скоро уже. Я вам всё объясню, только чуть-чуть подождите.

– Это, кстати, Вольдемар, – сказала Ангус, – а это Эрик.

– Эрик, – сказал жуткий мужик и протянул мне руку.

Я не стала её жать.

Я окончательно уверилась, что сплю, или, может, потеряла сознание. Происходящее не могло быть реально. Эта квартира, этот холод посреди жары, этот, наконец, съеденный окурочек. Разумеется, мне всё это казалось, это было галлюцинацией. Возможно, я умирала сейчас рядом с настоящими трамвайными путями, но сделать ничего не могла, поэтому решила не спорить. Я послушно и охотно сняла жаркие сапоги, и вместо них обула резиновые салатовые тапочки. В таких ходят в бассейн в реальной жизни, здесь же не было ничего реального. Я так же послушно напялила куртку – жуткую, старую, когда-то фиолетовую куртку, словно вытащенную из помойки, а может и вытащенную: мои галлюцинации все были какие-то маргинальные, почему бы и нет.

– Красотка, – сказала Ангус, и я, вроде, даже робко улыбнулась ей, мне мучительно хотелось одобрения.

А потом рельсы загудели, и из-за поворота вынесся ещё один трамвай. Фонарь у него на носу светил пронзительным жёлтым светом, и я поняла ещё одну вещь, которая окончательно убедила меня, что я брежу: ведь так и не рассвело.

7.

– Вольдемар, – сказал уродливый Эрик, – у тебя есть что? Контроль скоро, а она мне не нравится.

Когда мы только вошли и сели, он сделал что-то с моим ртом, провёл над ним ладонью, и, наверное, после этого я не смогла бы говорить, даже если бы захотела, но я не хотела. А говорили, не научусь, сказал он довольно, и Ангус ответила: ты дома попробуй, – и гадко засмеялась, и он вздохнул. Кажется, у моей галлюцинации не ладилась семейная жизнь – ну так на то она и моя галлюцинация.

Они усадили меня у окна. У прохода меня подпирал Вольдемар, а напротив – Ангус с Эриком. Я чувствовала себя взятой под стражу, но никого кроме нас в трамвае не было, и остановок он не делал. От чего меня охраняли, оставалось непонятно. За окном было всё так же темно, иногда мы проезжали мимо освещённых улиц, но я не успевала ничего рассмотреть.

На стекле на уровне моих глаз был нацарапан знакомый уже символ: спираль с глазом. Я хотела потрогать его пальцем, но Вольдемар заметил, и отвёл мою руку.

– Сейчас, – сказал он, – сейчас. Ты говоришь, она курила, может ещё?

– Так не выходить же, – сказал Эрик.

Вольдемар хлопал себя по бокам, просиял щекастым лицом, и вытащил из кармана очень мягкий бутерброд, завернутый в целлофановый пакет.

– С сыром, – сказал он.

– Да хоть с чем, – сказала Ангус. – Слышь, Светулик? Ам, ам. Ешь давай.

Как только мы сели в трамвай, настроение у неё снова испортилось. Я взяла бутерброд и съела его, как было велено. Я не стала бы возражать, даже если бы мне вернули голос. Стоило мне поесть, все почему-то оживились, Вольдемар загудел про ну вот и хорошо, Ангус что-то спросила насмешливо, но ликующе, и даже жуткий белоглазый Эрик улыбался довольно. Я никак не могла взять в толк, что их так обрадовало.

Кажется, я была голодна, и очень может быть – я подумала об этом и устыдилась своей чёрствости – что моя галлюцинация просто пожалела меня, заметив, что я выгляжу голодной и усталой, потому что после бутерброда мне стало лучше. В глазах прояснилось, обострился слух. Я начала различать мелкие детали, вроде царапин на стенах трамвая и механического подвывания из кабины водителя; от куртки моей, оказывается, пахло – не помойкой, слава богу, но чем-то нафталиновым, как если бы её долго хранили на антресолях. Головная боль, к моему удивлению, утихла, остался неприятный зуд в правом виске и шее справа. Я потянула руку, чтобы почесать, и Вольдемар снова поймал меня за запястье и руку отвёл.

– Не надо, Светлана, – сказал он. – Потерпите.

Вместе со слабостью ушла уверенность в своей бессознательности: стало сложнее верить, что мне кажется теперь, когда всё стало таким отчётливым. Я представила, как выгляжу со стороны: лицо счёрсано, на голове, небось, чёрт знает что, куртка, костюм грязный, засыпан крошками, тапки безобразные. А что если, подумала я с ужасом, меня одурманили? Ну конечно, отвратительные сигареты! Тогда всё понятно, конечно, той квартиры, быть не могло, но всё остальное реально, я просто под действием наркотиков. И эти уроды окурили меня, переодели в бомжиху и тащат непонятно куда.

Я встрепенулась и закрутила головой, высматривая других людей. Когда мы заходили в вагон, он был пуст, но сейчас почти не осталось свободных сидений: кто-то дремал, кто-то тупил в телефон, кто-то переговаривался. Помогите, попыталась сказать я, но губы словно склеили. Я хотела хотя бы замычать, но не смогла издать ни звука.

– Ну блин, – сказала Ангус, – ну начинается.

– Контроль скоро, – сказал Эрик, поглядывая в окно.

– Сейчас я, погоди – сказала Ангус. – Сто лет не делала.

– Да уж больше, – сказал Эрик, и она двинула его локтем: кажется, это был старый спор.

Трамвай дернулся и начал тормозить – пронзительно завывало что-то под ногами, замигал свет. Меня качнуло, Вольдемару пришлось удерживать меня, чтобы я не вылетела из кресла. Я покрутила головой, но никто и внимания не обратил на тряску, словно всё было в порядке вещей. Одного, уткнувшегося в телефон, швырнуло об стену – он, как ни в чём не бывало, выпрямился и вытер кровь, текущую из носа. От экрана он не оторвался.

– Документики на проезд предъявляем, – сказали над моей головой.

– Какие документы, – сказал подозрительно знакомый женский голос. Я словно услышала свою мать. Я посмотрела на Ангус: она сидела, сложив руки на груди и опустив лицо, вроде спала. Эрик безразлично смотрел в проход, выглядел он как человек, случайно здесь оказавшийся.

– На проезд документы, – Я поняла, что спрашивают со стороны стекла – снаружи.

– Слышите, давайте резче как-то, – сказал Эрик злобно. – Сколько можно стоять.

– Тут люди, вообще-то, с работы, – поддержал Вольдемар, и кто-то ещё из-за его спины предложил заканчивать и пригрозил жалобой на необоснованную коррупцию – мне показалось, что я услышала именно это.

– Документы, – настаивал голос из-за стекла.

– Какие документы? – спросила женщина, которую я никак не могла увидеть. – Я кто?

– Ты кто, – сказал голос.

– Конь в пальто, – сказала женщина, – с работы я еду, чего непонятного. Что бы я тут, по-твоему, делала, если бы не с работы была? Как бы я сюда попала? Забыла я пропуск, забыла, что теперь?

Голос не ответил, и молчание показалось мне задумчивым. Потом я поняла, что по ту сторону стекла не совсем тишина – что-то словно бы шумно принюхивалось.

– Так, – сказала женщина, – хорошо, я поняла. Ладно, я сейчас выйду, хорошо. Раз нормальному человеку нельзя со смены домой приехать без этого всего, я выйду, хорошо. А когда я завтра на работу не попаду – вот лично ты и будешь объяснять, где я, и почему норма не выполнена. Давай, сейчас выйду, открывай.

За стеклом зашипели, свет погас, а когда загорелся – мы уже ехали.

– Лихо, – сказал Вольдемар, достал из кармана шинели бутылку с водой и протянул Ангус.

– Как ездить на велосипеде, – сказала она и подмигнула мне.

8.

За окном так и не посветлело.

Свет в трамвае стал приглушенным, стук и шуршание сделались мирными, убаюкивающими. Вольдемар заклевал носом и завалился мне на плечо. Я дёрнулась, он встрепенулся, повёл головой, сказал что-то на языке, которого я не знала, и снова начал опускать голову. Ангус спала, прижавшись лбом к стеклу, окно перед ней запотело от дыхания, повлажневшие волосы липли к щеке. Спящая, она выглядела совсем юной. Я задумалась о том, что она делает в этой компании, если все они, конечно, мне не кажутся. Эрик тоже спал, откинувшись на сидение и вытянув перед собой ноги; из-за этих ног Вольдемару приходилось свои поджимать. Эрика сон ни капли не украсил. Я подумала, что это мой шанс: что я ещё подожду, и тогда тихонько выберусь, и попрошу водителя, и всё ему объясню – я постаралась не дёргаться, чтобы не вызывать подозрений, и сама не заметила, как задремала.

Не знаю, сколько я проспала. Когда я проснулась, надо мной тихо переговаривались.

– И главное, из-за чего, – жаловался один голос, и другой уговаривал его:

– Это тебе из-за чего, а тут другой человек, – я не смогла дальше притворяться, что сплю, и что я у себя дома, и что это он с каким-то другом обсуждает очередную нашу ссору: голоса у моих похитителей ни капли не похожи были ни на его голос, ни на любого из его друзей.

– Ладно, – сказал Эрик и махнул рукой. – Короче, до завтра, дальше сам.

Трамвай со знакомым уже подвыванием начал тормозить, Эрик поднялся, кивнул мне, и начал проталкиваться на выход. Ангус уже не было, на её месте дремал какой-то мужик в амуниции рыболова. Между ног у него стояло алюминиевое ведро с песком.

– Почти на месте, – сказал мне Вольдемар. – Не волнуйтесь, Светлана, уже почти всё. Я знаю, что вы нервничаете, – трамвай тронулся, мужик с ведром качнулся на меня, и, не просыпаясь, буркнул извинения, – всё понимаю, – закончил Вольдемар. – Но я вам позже всё объясню. О месте я договорился, всё устроится, такая просто, знаете, нелепая ситуация вышла.

Я на пробу попыталась позвать на помощь – ничего не вышло. Вольдемар пожал плечами:

– Извините. Голос тоже потом, если вам его сейчас вернуть – вы дел наворотите. Вы, главное, запомните, Света, это очень серьёзно: никого ни о чём не просите. Никаких услуг. Оставайтесь кому-нибудь должны – век не расплатитесь.

Я ударила мужика с ведром носком тапка в голень. Он распахнул жёлтые, гепатитные глаза. Я отчаянной пантомимой попыталась показать ему, что мне нужна помощь. Мужик посмотрел на меня, перевёл взгляд на Вольдемара, буркнул про совсем охуели и закрыл глаза.

– Света, – сказал Вольдемар, поймал меня за руки и повернул лицом в себе, – угомонитесь. Я могу помочь вам успокоиться, но не хочу.

Что-то ужасно неприятное случилось с его лицом: тени на нём стали гуще, резче, появились новые морщины, и из нелепого толстяка он на мгновение стал чем-то совсем другим – я мигнула и наваждение спало. Желание сопротивляться тоже исчезло: я скорчилась в кресле и остаток пути не доставляла никому проблем.

Ночь тянулась и тянулась, бесконечно, я то проваливалась в сон, то выскальзывала из него, как на качелях. Снилось мне неприятное, суматошное: какое-то на мне было белое платье, и я была в родительской квартире, старой ещё, и стояла в коридоре, и звала маму, и она меня слышала, я знала, что она меня слышит, но не идёт, и я злилась.

Я толком не проснулась, когда Вольдемар потянул меня на выход. Я так ужасно устала, что и не сопротивлялась. Я перестала убеждать себя, что мне кажется, мне стало всё равно. Хотелось, чтобы меня оставили в покое. Я помню, что мне не понравилось снаружи – но не

помню, чем. Что-то было неправильно, но я никак не улавливала эту неправильность: для этого надо было бы собраться, сконцентрироваться, а я не могла. Вольдемар тащил меня за собой, ухватив за руку, и хватка его была как железная, я хотела заплакать от беспомощности и боли, но не могла даже заскулить. Он шёл так быстро, что я еле за ним успевала. Я боялась, что если споткнусь и упаду, он потащит меня по земле. Ноги мои скользили в резиновых тапках, я больно ударилась о какой-то кирпич пальцами и порвала колготки, мои стопы снова кровоточили.

Наконец, всё закончилось. Вольдемар остановился, я тоже остановилась. В глазах у меня плыли радужные круги. Я испугалась – но очень отстранённо, скорее подумала, что надо бы испугаться – что это ещё одно действие наркотиков, которыми меня накачали, и что сейчас я ослепну.

– Светочка, – сказал Вольдемар, снова переходя на дружелюбный, сюсюкающий тон, – совсем чуть-чуть осталось. Скоро отдохнёте. Я вам договорился на комнату, сейчас я вас отведу, только, пожалуйста, не смотрите на коменданта. Он будет просить, а вы не смотрите.

Я ничего не вижу, подумала я.

– Вот и хорошо, – сказал Вольдемар и снова меня потащил.

Я всё пыталась понять, куда он меня притащил. С чувством времени у меня творилось неладное: мне казалось, что с начала ночи прошла чуть не неделя – я не знала, как долго мы действительно ехали. Я подумала: сколько бы мы не ехали, ехали мы всё время на трамвае. Значит, это место – рядом с линией. Радужные круги и темнота мешали мне присмотреться – вроде бы, нас окружали обычные панельные многоэтажки, такие понатыканы по всему городу, и совершенно невозможно отличить по ним один район от другого. Никаких приметных деталей я не видела. Что-то шумело, но я не могла сказать, был это шум машин от дороги или шум у меня в голове.

Вольдемар, не сбавляя скорости, подтащил меня к подъезду, крикнув, налёг плечом на дверь – кажется, доводчик был слишком тугим – и, когда она приоткрылась, затянул меня внутрь. На меня пахло прокуренной сырой побелкой, сушащимся бельём и общей кухней. По этому запаху я поняла, что мы в общежитии. Стало ясно про комнату и коменданта; осталось непонятным, почему на коменданта нельзя смотреть.

Я не могла вспомнить никаких общежитий рядом с трамвайными линиями.

– Не смотрите, – напомнил Вольдемар. Я безропотно кивнула: от вони жаренной селёдки меня подташнивало. За стойкой, насколько я могла видеть, никого не было. Лежала раскрытая общая тетрадь – наверное, какой-нибудь журнал учёта, бубнило радио, но никто нас не встречал. Правильно, подумала я вяло, ночь на дворе, вход до двадцати трёх.

– Ключи дайте, – сказал Вольдемар, отворачиваясь от меня. За стойкой зашуршали, журнал учёта сам собой поехал вниз и смачно шлёпнулся об пол. На стойку легла огромная куриная лапа, покрытая сморщенной пупырчатой кожей, и проскребала когтями, оставляя царапины.

– Даже не начинайте, – сказал Вольдемар, – мы договорились, – и дёрнул меня за рукав куртки. Я опустила слезящиеся, слепнущие глаза и начала рассматривать плитку на полу, кри- вые серые с розовым ромбы.

– Посмотри на меня, – сказали из-за стойки.

– Давайте ключи, – утомлённо сказал Вольдемар.

Из-за стойки кудахтающе захихикали, зашуршали – я подумала, что так могла бы шуршать чешуя. Мне представилось огромное змеиное тело, свивающееся кольцами, поджидающее меня. Вольдемар тронул меня за плечо, выводя из транса, и помотал у меня перед лицом ключом на плоском пластиковом брелке.

– Я вас провожу, – сказал он, – давайте, Свет, совсем немного осталось. Этаж у вас пятый.

– А надо на седьмой, – крикнули из-за стойки, – седьмой, седьмой, никуда не денешься, – и тут я впервые услышала то, что мне потом не повторил только ленивый: – Самоубийца, Светлана, никто не любит.

– Пятый, – сказал Вольдемар, таким тоном, словно меня это должно было утешить – наверное, должно было, потому что лифт, конечно, не работал.

9.

Первое, что сделал Вольдемар, когда привёл меня в комнату на пятом этаже – это крепко-накрепко запер дверь и велел мне всегда делать так же.

– Я, – сказал он тревожно, – не уверен. Может вам и правда лучше на седьмой, кто тут у вас в соседях, но на седьмом, понимаете, тоже контингент, а самоубийц, Света, никто не любит.

Почему, интересно, подумала я, потому что мне показалось, что от меня ждут вопроса.

– Возни много, – отмахнулся Вольдемар, и я поняла, что никто от меня ничего не ждал.

Второе, что он сделал, это достал из тумбочки электрочайник, набрал в него воды из-под крана и поставил чай. Пакетики с заваркой и сахаром и кружки он достал из кармана шинели. Я поняла, что у него там, в шинели, настоящий склад всякого добра – только чайник почему-то не влез. Это понимание совершенно меня не удивило – ну, бывает, носит человек с собой всякое, ну не всё влезло, ну случается. Только когда Вольдемар силком влил в меня полкружки скверного сладкого чая, я поняла, что почти теряла сознание, и что необычайная моя покладистость, была связана именно с этим. Чай меня оживил.

Оживлённым взглядом я осмотрелась кругом и поняла, что нахожусь в неприятном месте. Обои, где не отвалились, вросли в стены, розетки же, напротив, из стен выпадали, и чайник, найденный Вольдемаром, оказался жутко заляпанным. За окном в разошедшейся деревянной раме была всё та же ночь. Ночь от меня отгораживали стекло, покрытое радужными пузырями от старости, фанерка там, где стекло разбилось, и серый от пыли тюль, закрывающий часть окна без фанерки.

Из мебели в комнате оказались шкаф, две продавленные панцирные кровати и тумбочка между ними. Если бы мне предложили описать уныние – я бы вспомнила эту комнату.

– Так, – сказала я и удивилась тому, что мне это удалось. Вернувшийся голос стал хриплым, словно простуженным. В горле першило. Я пришла в себя достаточно, чтобы осознать: я сижу в каком-то клоповнике, пью бурду из чужой чашки, и меня, кажется, похитили, подвергнув воздействию наркотических веществ. – Так.

– Получше? – спросил Вольдемар.

При более-менее нормальном свете стало понятно, что для него эта ночь тоже даром не прошла – а может и не только эта ночь. Лицо его осталось пухлым, но окончательно утратило иллюзию свежести. Под глазами набрякли огромные серо-синие мешки, в левом глазу лопнул сосуд, залил склеру красным. Кажется, зрачки у него были разного размера – я не была уверена, зато точно рассмотрела, что нос, как и у его длинного друга, свернут на бок. Почему-то подмеченные детали уменьшили мою неприязнь, хотя стоило признать, что ни капли приятнее он выглядеть не стал.

– Так, – сказала я снова. – Очень хорошо. Я не знаю, что вы тут устроили, но вы мне сейчас объясняете, а потом я отсюда ухожу и звоню в милицию.

– Нет, – сказал Вольдемар.

– Что именно нет, – спросила я, стараясь, чтобы голос не дрожал. Я как-то читала, что с такими уродами главное – не показывать страх. С этим я, кажется, опоздала, но что ещё мне оставалось делать, если не храбриться.

– Нет, – сказал Вольдемар, – не уходите и не звоните.

– Почему? – спросила я, понимая, что не надо спрашивать, и что вообще, наверное, не надо спорить и угрожать, и что чай придал мне ложной храбрости.

– Потому, – сказал Вольдемар, – что вы умерли, Света. Извините, – и развёл руками.

10.

Конечно, я ему не поверила.

Конечно, я этого не сказала.

Я молчала и пила сладкий чай, а он, обнадеженный моим молчанием, рассказывал про то, что бывает, что произошло путаница, что всё наладится, во всём разберутся, всё разъяснят. Работу мне уже нашли, и с жильём всё хорошо – он договорился, и подселить ко мне никого не будут – и, ну конечно, бывает и лучше, но я же понимаю, самоубийц никто не любит.

– А при чём тут это? – спросила я, чтобы хоть что-то спросить.

– А вы разве не помните, – поразился Вольдемар, и мне стало даже неудобно, что я его огорчила. Очень у него было живое, выразительное лицо – даже теперь, когда исчезла иллюзия розовой свежести. – Вы же, ну, – он сделал рукой такое движение, как будто показывал нырок с вышки.

– Нет, – сказала я, – ничего подобного я не помню. Хорошо, – сказала я, не позволяя ему снова сбить меня с толку, – хорошо, допустим, я умерла, а при чём тут вы? Чего вы от меня хотите? Хлопочете, договариваетесь? – я постаралась сказать последние слова как можно более ядовито, чтобы он сразу понял, как мало я значения придаю его хлопотам, но он, кажется, не понял, потому что просиял.

– Я же говорю, – сказал он, – какая-то ерунда вышла. Умереть вы умерли, а по документам не прошли.

Он скоро ушёл – ещё раз напомнив, что утром заберёт меня, чтобы проводить на работу. Я хотела проследить его уход, но мысль подойти к окну вызывала тошноту. Так что я просто посидела сколько-то, допила чай, и, крадучись, выбралась из комнаты.

Коридор, в котором я оказалась, до ужаса напоминал тот, который я то ли видела, то ли он мне примерещился в старом доме со странными жильцами: те же бесконечные двери, те же неприятные тени. Самое жуткое – я никак не могла вспомнить, куда мне идти, чтобы попасть на нужную лестницу. По времени, проведенному в общежитиях, я знала, что из двух лестниц одна непременно оказывается закрыта. Так и вышло, и конечно, я попала именно на неё.

Был ещё второй, скверный вариант: все выходы заперты на ночь. Я старалась о нём не думать.

В любом случае, мне надо было вернуться на этаж, снова пройти его насквозь – и попробовать с другой стороны. Я думала было, что подниматься не придётся – но все двери с лестницы в коридор оказывались закрыты, сколько я не дёргала ручки.

Было темно, лампочки горели через этаж – даже не лампочки, а пыльные красные фонари. Сильно пахло сигаретным дымом. Я заметила то, на что раньше стоило обратить внимание: расставленные по пролётам жестянки с бычками. Ясно, что непроходную лестницу используют, как курилку, если бы я пригляделась, не теряла бы времени.

Мне казалось, что я уже прошла свой этаж, но двери не поддавались. Иногда я слышала голоса – словно кто-то, собственно, выходил на лестницу покурить. Сначала это заставляло меня опасливо замедляться. Мне вовсе не хотелось ни с кем общаться, мало ли, кто здесь живёт. Потом я начала замечать неладное: голоса, понимаете, были, а следов – не было.

Везде на лестнице густо лежала пыль – густая, жирная, похожая больше на пепел. Чем выше я поднималась, тем больше её становилось. Воняло уже не сигаретами, а просто дымом и тухлыми яйцами. Я утопала в грязи и смраде. За мной оставались ясные, глубокие следы – но ничьих отпечатков ног кроме своих я не увидела.

Мне стало жутко: конечно, я всё ещё не поверила в Вольдемаровы рассказы, но что-то здесь было очень не так. От вони и усталости мне казалось, что и стены вокруг скверные,

искажённые. Посмотришь прямо – и всё хорошо, чуть отведёшь глаза – и тут же понимаешь, что есть там что-то неправильное, что-то на периферии, что толком и не разглядеть .

Словом, я была так измучена, так мне хотелось разобраться с этим кошмаром, выбраться с чудовищной лестницы, что услышав снова голоса, я не стала замирать, но побежала со всех ног, кашляя на бегу от пыли.

Голоса стали удаляться, и скрипнула дверь – я слышала такое уже несколько раз, и понимала, что сейчас снова останусь одна.

– Подождите, – закричала я, – подождите, пожалуйста, – и прямо надо мной из дыма и полумрака вынырнуло носатое, недоброе лицо.

– А это у нас кто, – сказала лицо прокурренным голосом. Я поняла, что выбежала на лестничную площадку, и что вся эта площадка – в клубах дыма, и поэтому мне ничего не видно. Кроме меня там было ещё пятеро – а может и больше. Голоса, хоть и грубые, хриплые, были женскими. Я не могла разобрать ни слова: каркающим, лающим был их разговор, и если это был язык – я не знаю, какой.

– Мне надо пройти, – сказала я, надеясь, что мне помогут. Меня тут же схватили за руку – и какой же крепкой была эта хватка! – и втащили в дымное облако.

– Мне надо, – снова начала я.

– Мер-твя-чеч-ка, – сказали у меня над головой.

Я оцепенела.

– Мертвячечка, – сказал другой голос, – ты посмотри, мертвячечка какая хорошая. Вы посмотрите.

– Хорошая какая, – поддержал ещё новый голос, а может первый, я не могла их различить, все они были одинаковые: злые, охрипшие, повизгивающие. – А чья? А чья?

– Наша будет, – засмеялись в отдалении, – хорошая наша мертвячечка, ну-ка стой, ну-ка сядь.

Оцепенение с меня спало, я закричала – хотела закричать, но получился тоненький хрип – и рванулась, но держали меня крепко. Ноги скользнули по жирной пыли, я упала, и меня потащили, а я пыталась орать и пинаться.

– А ну тихо, – цыкнули на меня, и чудовищно острые когти воткнулись мне в лицо, окружая глазницу. Я поняла, что если дёрнусь – мне выколут глаз. Я замерла. Кажется, я заплакала, по крайней мере, по лицу потекло что-то влажное.

– Ты смотри, ты смотри, – сказала какая-то из этих ужасных женщин, и наклонилась ближе ко мне. К дымной вони прибавился ещё один запах: от неё почему-то сильно пахло курятником. – Ну-ка, – она вдруг сунула руку мне в вырез блузки, и я заорала и забилась с новыми силами от отвращения.

– А ну тихо, – крикнула та, которая держала, и, ухватив меня за волосы, дёрнула с такой силой, что под её руками хрустнуло. Боль была такая, будто мне оторвали кусок скальпа. В тот же момент меня со всех сторон начали щипать и царапать, а заводила их, та, которая чаще всех на меня орала, крикнула довольно – и воткнула пальцы мне в грудь.

В груди моей тоже хрустнуло.

– Тяжело идёт, – сказали над моей головой, – тяжело.

– Погодь, – сказала заводила, и я поняла, что под её рукой что-то расходится, рвётся с тихим треском, как старая, штопанная ткань. – Погодь, ща, – она снова крикнула и приналегла. Я опустила глаза и увидела, что рука её уже по запястье ушла в мою грудную клетку, и она делает рукой такие движения, будто ищет что-то внутри.

Я заскулила.

– Ща, ща, – захрипела женщина, – ну тебя и взболтали, мер-твя-чеч-ка, ну и коновалы тебя шили, это же надо... – она начала вырывать из моей груди серые комки. – Не то!

Другие пришли в исступление и начали галдеть и щипать меня пуще прежнего.

– Дай, дай, дай, – кричала та, что держала меня за волосы. Кровь заливала мне лицо. Я очень хотела верить, что это кровь.

– Сейчас, сейчас, – каркала другая. – Ты глянь, ты глянь, ты посмотри, что наделала, где, где, мер-твя-чеч-ка!

– Нет, нет, – заходился кто-то смехом, – потеряла, мертвячка, дур-ра!

Лица их то выплывали из дыма, то снова в нём прятались, носатые, хищные, и руки, которые они тянули ко мне, тоже то исчезали, то снова показывались.

– Сейчас я пошепчу, поищем, поиграем с мер-твя-чеч-кой.

– Отдайте, – просипела я, не зная до конца, что у меня забрали, но понимая, что происходит что-то невероятно ужасное, гораздо страшнее, чем расцарапанное лицо и вырванные волосы.

– Слышали? – спросила заводила, и передразнила меня писклявым голоском: – Отдайте! Занавесочки тебе не повесить, мертвячка? Соскучилась, небось, по занавесочкам?

И все они разом загалдели и засмеялись, будто это была шикарная шутка.

Понимаете, они действительно думали, что это весело. Хохотали до слёз, словно ничего смешнее не слышали. Выли и хлопали в ладоши. Та, что держала меня за волосы, согнулась, всхлипывая, и потянула мою голову вниз – я почувствовала, что она вырывает ещё клочок волос, и схватила её за руку, и сжала. У меня под пальцами затрещало, она перестала смеяться и закричала.

– Отдайте, – сказала я, от ужаса сжимая пальцы сильнее. Мне казалось, что если я отпущу, то она бросится на меня. От боли и страха на глаза мне навернулись слёзы – но злилась я гораздо больше, чем боялась, удивительно даже, как меня разозлила эта мерзкая шутка. Смех затихал: те, что стояли дальше, и кого я совсем не видела из-за дыма, ещё каркали восторженно, но ближайšie уже поняли: что-то пошло не так. Голоса их стали обеспокоенными, тревожными.

– Пусти, пусти, – заголосил кто-то, пытаюсь меня оттащить. Та, которую я держала, уже не кричала, а ойкала. Повторяла: ой, ой, ой, ой, – как будто пластинку заело. Её подруга ухватила меня своей когтистой лапой. От злости в моей голове словно что-то лопнуло, как лопаются мыльные пузыри. Извернувшись, я укусила её. Если бы я не стояла так неудобно, на коленях, я бы ей в лицо вцепилась.

То есть, вы поймите.

Я никогда не была такой – я всегда была тихой, никогда не делала ничего подобного; но ведь бывает, что приходится. Конечно, не надо было им смеяться, то есть, я думала, что если бы моя мама меня видела – но смеяться им не надо было.

Они набросились на меня все разом, чёртовы курицы. Крики их стали совсем неразборчивыми, мокрыми перьями пахло невыносимо. Пару раз ещё что-то издало этот ломкий звук, но глаза мне заливало, и я ничего не видела из-за этого, а ещё из-за проклятого дыма. Смеяться уже никто не смеялся.

Не знаю, чем бы всё закончилось – в конце концов, их было больше, но дверь хлопнула, площадку залило светом, и кто-то сказал сипло и негромко, но удивительно отчётливо:

– Комендант идёт, – и добавил, – устроили тут.

11.

Правый глаз мой куда-то задевался, и в коже было больше дыр, чем в подошвах моих чужих потерянных туфель, тех, что на картонной подмётке. Ноги меня не держали, под ногтями подсыхали какие-то ошмётки. Вся лестничная площадка была заляпана, банка, в которую они стряхивали пепел, опрокинулась, и мы втоптали окурки в бетон.

Что-то случилось со мной, и меня совсем не удивляли и не пугали ни их странные глаза, ни кривые, жирные, куриные ноги, обтянутые цветными лосинами, ни крылья, ни когти. Макияж у них у всех до одной потёк – тонны румян, и туши, и подводка. Всё это было уничтожено и размазано по лицам, и я почувствовала злорадное удовлетворение.

– Отдай, – сказала я, почти не слыша своего голоса – сорвала горло, пока орала и ругалась.

– Что отдать, дура, – сказала та, что была особенно носата и размалёвана, с огромными золотыми кругами в ушах.

– Расходимся, – каркнула другая, – комендант, – и они, не глядя на меня, начали просачиваться в дверь. Над дверью сейчас, при свете, стала видна цифра семь, нарисованная мелом, а под ней знак – глаз со спиралью.

– Глаз отдайте, – зашипела я, хватая главную за руку, – глаз.

– Нету у меня, – рявкнула она, и вырвала руку, – ничего у меня нет, сама продолбала, конченная какая-то, – дверь захлопнулась за ней, и я осталась снова в сумраке и одиночестве, и прижалась спиной к стене, обессиленная.

– Шли бы вы в свою комнату, – сказали из-за моей спины, и закашлялись. Щелкнула зажигалка, отчётливо послышался звук затяжки.

– Не могу, – сказала я. – Там заперто.

– Неприятно, – посочувствовали мне. – Ну, вы попробуйте как-то, а то комендант ходит. Ему не понравится, что режим нарушается. Опять же, когда он придёт вас ругать, вам придётся на него смотреть, а этого я вам не советую.

– Совсем не могу, – сказала я, – я с пятого, там закрыто.

Злость ушла, осталась невероятная усталость. Мне так хотелось, чтобы всё закончилось, так хотелось отдохнуть – вы не представляете. Никогда в жизни я так не уставала и так не хотела просто полежать, и чтобы никто меня не трогал, не тягал, не отбирал у меня ничего.

– А давайте я помогу, – предложил голос. – Смена у меня всё равно заканчивается.

– Помогите, – согласилась я. Что-то такое почти вспомнилось, но я слишком устала.

– Держитесь, – мне подали руку, и я взялась за неё. Обычная рука, со сбитыми костяшками и обкусанными ногтями, и не скажешь, что вытянулась оттуда, где должна быть бетонная стена. – Шаг назад, – подсказал мне голос, и я шагнула, и перед носом моим оказалась внутренняя стенка шкафа. Две сломанные вешалки, которые мне показал до того Вольдемар, и на которые он посоветовал ничего не вешать, запутались у меня в волосах.

– Не оборачивайтесь, – сказал голос. – Я со смены, вам не надо на меня смотреть.

За спиной у меня зашуршало.

– Можете выходить, – окликнул голос. – У вас чай есть? Я бы у вас чая попил и пошёл, да и вам не помешает.

– В тумбочке, – сказала я и, глядя строго под ноги, вышла из шкафа. Вольдемар оставил мне запас чайных пакетиков и немного сахара, строго наказав с первых же денег купить ещё. – А вы с Вольдемаром, – я сделала жест рукой, который должен был показать, что мой гость имеет отношение к Вольдемару, и оба они – к бедственному моему положению.

– А, нет, – сказал голос. Странно он звучал, ускользающее, словно не совсем отсюда. – Куда мне до сильных мира сего. У них в преднамеренной с вами путаница. Отчётность не бьётся. Вам тут, кстати, бутерброды оставили, будете?

– Нет, – сказала я и села на кровать. Смотрела я на свои ноги: колготки не пережили ночи и расплзлись капроновыми клочьями. Руки я положила на колени, на левую руку капнуло. Я испугалась, что меня начнут утешать, но обошлось. – Вольдемар из преднамеренной, а вы откуда?

– Из кошмаров, – сказал голос, и знакомая рука протянула мне нечистую кружку с чаем. – Пейте, вам надо. И купите сахара тут же, как только получите аванс. Вы пока не привыкли, здесь без этого нельзя.

– Спасибо, – сказала я. – И меня тоже в преднамеренную? Или в кошмары? Что это вообще значит.

– В кошмарах ставок нет, – сказал голос. – Это, Светлана, разные отделы. Я не знаю, на что для вас договорился Вольдемар, но на что бы не договорился – соглашайтесь. Послушайте доброго совета. Тут, кстати, с сыром есть – точно не будете?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.